

Драма А.П. Чехова «Иванов»

Хализев В.

Драма А. П. Чехова «Иванов» сразу же после ее первой постановки в 1887 году вызвала в критике разнотолки и споры. Одни считали эту пьесу произведением по преимуществу разоблачительным и характер главного героя расценивали как отрицательный в своей основе. «Он вечно действует очертя голову, — писал, например, критик «Русских ведомо стей». — И ничего путного не создается из его действий. Он сознает, что не в силах побороть себя, заставить себя действовать согласно с разумом, а не подчиняясь первому побуждению безвольной натуры».

Другие же, напротив, видели в пьесе изображение глубокой душевной драмы, даже трагедии русского интеллигента и в центральном персонаже усматривали фигуру положительную. Так, в небольшой статье П. П. Перцова «Вне уровня», подписанной псевдонимом «Посторонний», говорилось, что Иванов устал «не столько от своей деятельности, сколько от слишком большого несоответствия этой деятельности, да и всей своей личности, с окружающей средой». И дальше: «Всего печальнее в этой трагедии, что в ней, собственно, никто не виноват. . . Мы негодуем на весь жизненный строй изображаемого общества, на его пустоту и пошлость и начинаем думать, как бы устроить так, чтобы люди, вроде Иванова, не были одинокими. . .»

Современные литературоведы придерживаются точки зрения, родственной той, что сформулирована рецензентом «Волжского вестника». При этом они сторонятся тех крайностей, к которым были склонны такие критики, как П. П. Перцов, и в главном герое «Иванова» видят не «раненого льва», не трагического героя, а фигуру сложную, противоречивую, двойственную, трагикомическую. Особенно настаивает на сложности характера Иванова как принципиально важном, проблемном моменте чеховской пьесы А. П. Скафтымов — один из самых авторитетных исследователей драматургии Чехова.

Отказавшись от нежелательных крайностей в истолковании образа Иванова, советские ученые, однако, до сих пор недостаточно отчетливо определяют, в чем же Чехов видел силу и слабость своего героя. И мысль автора, воплощенная в этом образе, а следовательно, во всей пьесе, остается не понятой сколько-нибудь полно. В этом убеждает недавняя полемика между Л. Малюгиным и В. Ермиловым на страницах журнала «Вопросы литературы» (1961, № 5). По мнению первого, Иванов «попадает в состояние, близкое к отчаянию, не только вследствие вообще «утомленности», но и от очень конкретных обстоятельств — катастрофического безденежья, разорения, нищеты». Второй же утверждает, что главное в пьесе — это мысль о недостаточной идейной вооруженности людей типа Иванова. Нам представляется, что истина в этом отношении на стороне В. Ермилова. Однако его точка зрения, которую разделяет и Г. П. Бердников, до сих пор недостаточно конкретизирована и обоснована путем анализа текста пьесы. Драма нуждается в дальнейшем изучении — и прежде всего со стороны ее содержания.

В некрологе, посвященном Н. М. Пржевальскому, Чехов, как известно, поднимал на щит людей «веры, подвига и ясно сознанной цели», людей, для которых целеустремленное служение науке, обществу, про грессу, родине является душевной потребностью, условием личного счастья. А вместе с тем писатель уже в конце 80-х годов хорошо понимал, что людям такого склада жизнь чинит весьма серьезные, а то и неодолимые препятствия, что программа творческой деятельности во имя куль турного прогресса является в современной ему России неосуществимой в сколько-нибудь широких масштабах. Он отчетливо видел скованность общества, нравственную подавленность тех людей, в душах которых таились качества, отвечающие его высокому нравственному идеалу. «. . . Что мы теряем жизнь, — это так же верно, как то, что Вы носите очки», — замечал Чехов в письме И. Щеглову 14

сентября 1888 года (XIV, 167). А несколько позже он писал А. Н. Плещееву о своих знакомых Линтваревых: «. . . все они умны, честны, знающие, любящи, но все это погибает даром, ни за понюшку табаку, как солнечные лучи в пустыне» (XIV, 206).

Угнетенное состояние интеллигенции Чехов уже в эту пору истолковывал как последствие жестокого политического гнета в стране, о котором говорил подчас с почти щедринской язвительностью и резкостью. «Погода у нас туманная, — сообщал, например, писатель Н. А. Лейкину 23 октября 1886 года.— Столько по улицам туману напущено, что не только либералов, но даже и консерваторов не видно. Надо будет Пальмину дать тему для стихов — «Туман»: бог Феб скрылся благодаря туману, напущенному идолами нашей хмурой эпохи; но идолы не разочли, напустили больше, чем следует, и сами погибли. . .» (XIII, 242).

При этом Чехов упорно стремился понять, как сказывается «туманная погода» на гражданской деятельности и нравственной жизни людей прогрессивных взглядов. И он пришел к очень интересным и своеобразным обобщениям, которые сформулировал в письме к Суворину от 30 декабря 1888 года. Писатель высказал здесь весьма оригинальный взгляд на нравственно-психологические свойства «русских интеллигентных людей» (XIV, 269).

Специфически русской чертой Чехов считает «крайнюю возбудимость», чреватую быстрой и легкой «утомляемостью». Отмечая это психологическое свойство, присущее, по его мнению, большинству русских «образованных дворян» — университетских либералов, он вместе с тем утверждал, что народнический социализм (иного Чехов не знал) — это также один из видов возбуждения. «Разочарованность, апатия, нервная рыхлость и утомляемость, — писал Чехов, — являются непременно следствием чрезмерной возбудимости, а такая возбудимость присуща нашей молодежи в крайней степени. Возьмите литературу. Возьмите настоящую. . . Социализм — один из видов возбуждения. Где же он? В письме Тихомирова к царю. Социалисты поженились и критикуют земство. Где либерализм? Даже Михайловский говорит, что все шашки теперь смешались. . . А чего стоят все русские увлечения? Война утомила, Болгария утомила до иронии, Цукки утомила, оперетка тоже. . .» (XIV, 270—271).

Эта концепция излишней «возбудимости» русского интеллигента несомненно свидетельствовала о некоторой незрелости мировоззрения писателя. Понятия психологии и физиологии, с помощью которых Чехов пытался подвергнуть анализу общественную жизнь своего времени, были в данном случае явно недостаточны. И это создавало предпосылки для одностороннего и неверного истолкования социальной действительности. В частности, в приведенном высказывании весьма наивной выглядит попытка писателя объяснить одним и тем же национально-психическим фактором такие разноплановые явления, как поражение народничества и разочарование театральной публики в оперетке.

А вместе с тем рассуждения Чехова на психиатрические темы — о «возбудимости» и «утомляемости» — имели определенную политическую направленность. Расценивая отступничество как неизбежную дань «утомляемости», Чехов, естественник по образованию, в своеобразной форме говорил о гражданской несостоятельности народников и либералов. И в этом отношении мысль писателя о крайней возбудимости «русских интеллигентных людей» была совершенно справедливой.

70-80-е годы XIX века для русской прогрессивной общественности были, как известно, временем господства субъективистских представлений и взглядов. Прогрессивные деятели этой эпохи не имели возможности опираться на активность сколько-нибудь широких слоев общества и ориентировались на весьма ограниченные социальные силы — в основном на образованное меньшинство, на интеллигенцию. Именно прогрессивно мыслящих интеллигентов-семидесятников имел в виду Н. В. Шелгунов, когда в «Очерках русской жизни» критически, хотя и сочувственно, отзывался о «строгих моралистах прежней формации, ожидавших от «энергической личности» общественного обновления». Такими «строгими моралистами», в сущности, были и либералы-реформисты с их неоправданными надеждами на чудодейственные свойства петиций и ходатайств к властям со стороны представителей «общественности», и революционеры народнической закваски, верившие во

всепобеждающую силу террористических актов или же — в лучшем случае — в успех пропаганды социалистических идей в крестьянстве.

Гражданственность и тех и других основывалась скорее на добрых пожеланиях и намерениях, нежели на познании закономерностей развития общества.

Поэтому-то активные участники прогрессивных движений 70-х годов — будь то земский и университетский либерализм или же революционное народничество — в большинстве случаев не понимали реального соотношения общественных сил и не способны были объективно и трезво оценивать перспективы и возможные результаты собственной работы. В результате они оказывались склонными к переоценке собственной роли в истории, к своего рода фанатизму и экзальтации, которые в конечном счете оборачивались недостаточной идейно-гражданской стойкостью, — ко всему тому, что Чехов и назвал «крайней возбудимостью» и «легкой утомляемостью».

Драму «Иванов» и следует рассматривать как художественное воплощение исторически верных, хотя и недостаточно отчетливых чеховских представлений о «возбудимости» и «утомляемости» русского интеллигента. Эти представления в очень большой степени определили как сильные, так и слабые стороны пьесы.

Внимание читателя и зрителя приковывает прежде всего душевная драма центрального героя пьесы. Монологи Иванова, предающегося воспоминаниям, позволяют понять характер прежней деятельности персонажа и уяснить его былую общественную позицию. Иванов вспоминает о своем вдохновенном труде, о том, что он, выйдя из университета, «воевал», «сражался», произносил «горячие речи», что его волновали широкие, смелые проекты — «всевозможные рациональные хозяйства, необыкновенные школы» (24). В письме Чехова к Суворину, которое цитировалось выше, в дополнение к этому говорится, что люди, подобные Иванову, берутся «сразу и за школы, и за мужика, и за рациональное хозяйство, и за письма министру, и за «Вестника Европы» (XIV, 269).

И это прошлое Иванова резко противопоставляется его настоящему. Герой пьесы признается, что теперь он решительно отошел от гражданской деятельности и не имеет для нее ни волевой энергии, ни физических и нервных сил. Он постоянно жалуется на слабость, боль в голове, шум в ушах, то и дело проявляет крайнюю неуравновешенность. Но, как это становится ясно из некоторых высказываний героя, беда его не только в крайней усталости, но и в идейном кризисе, — в том, что он утратил веру в свои былые идеалы. Переутомление Иванова предстает при этом как симптом его гражданского банкротства: герой пьесы не просто отошел от общественной деятельности и борьбы, а принципиально отказался от каких-либо новых попыток прямого и решительного воздействия на социальную действительность. Иванов пытается теперь выдвинуть и обосновать совершенно новое *credo* — примиряется с действительностью и убеждает себя и других, что следует жить «естественной» жизнью, быть довольным собою и тем, что имеешь. «. . . Всю жизнь стройте по шаблону, — говорит он. — Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. . . Не бейтесь лбом о стены. . . Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, богом данное дело. . . Это теплее, честнее и здоровее» (24). «У него, — пишет Чехов об Иванове, — еще и порядочных усов нет, но он уж авторитетно говорит: «Не женитесь, батенька. . . Верьте моему опыту». Или: «Что такое в сущности либерализм? Между нами говоря, Катков часто был прав». Он готов уж отрицать и земство, и рациональное хозяйство, и науку, и любовь. . .» (XIV, 269).

При этом в пьесе подчеркивается, что эволюция Иванова обусловлена крайне неблагоприятными и тяжелыми обстоятельствами его жизни и деятельности. Герой вспоминает, что вел бесплодную войну «в одиночку с тысячами», что перед ним были какие-то «стены», о которые приходилось «биться лбом» (24). «Ведь нас мало, а работы много, много!» — восклицает он (77). Саша утверждает, что «около великодушных затей» этого человека «наживался всякий, кто хотел» (36). Писатель, как видно, дает понять, что жизнь обманула Иванова именно в его гражданских чаяниях, что сами результаты деятельности героя оказались неожиданно печальными.

В этом контексте мысль Иванова о том, что он взвалил на плечи непосильную «ношу» (77) и «надорвался» (56), выглядит весьма многозначительной; речь идет не просто о личной слабости человека, а о поражении одного из тех общественных деятелей, которые принялись за решение насущных социальных проблем, не имея для этого реальных и действенных средств. Не случайно Иванов однажды начинает говорить от лица определенной группы людей: «В двадцать лет мы все уже герои, за все беремся, все можем и к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся» (57).

Уже неоднократно отмечалось — и В. В. Ермиловым, и Г. П. Бердниковым, и другими авторами, — что эволюция героя чеховской пьесы весьма характерна для русской общественной жизни 80-х годов, точнее — для либеральной интеллигенции, часто переходившей на откровенно консервативные позиции. И тем не менее Иванов как тип русской жизни до сих пор предстает в освещении недостаточно ярком. Попытаемся же представить яснее, какие явления социальной действительности стоят за высказываниями Иванова о «горячих речах» и «рациональных хозяйствах», о войне «в одиночку с тысячами», а самое главное — какова общественная подоплека и сущность переживаемой им душевной драмы.

Либералы пореформенной России, как известно, ратовали за конституционные преобразования в пределах помещичьего строя и монархической системы правления. И преобразования эти мыслились ими не как итог политической борьбы, а как акт доброй воли царя, который, вняв просьбам и ходатайствам общественности, сам ограничит свою власть законами. На знаменах либералов было написано содействие постепенному культурному прогрессу посредством деятельности в органах местного самоуправления — в земствах, учрежденных в 60-е годы. Иначе говоря, либерализм в пореформенную эпоху выдвигал программу «малых дел». Его доктрина, по замечанию В. И. Ленина, была неполитической.

Эту ограниченность либерализма постоянно имеют в виду историки и литературоведы, в частности — и авторы работ о Чехове. Но они не редко забывают о другой стороне дела — о том, что либералы, оплотом которых были земства, уже в первые пореформенные десятилетия попали в весьма тяжелые условия и не могли не становиться в оппозицию к властям. «... Всемогущая чиновничья клика не могла ужиться с выборным всесословным представительством и принялась всячески травить его», — писал В. И. Ленин. И эта травля вызывала ответную реакцию либералов-земцев, которые, как показано в работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма», явили собою весьма значительную силу, оппозиционную властям. В. И. Ленин говорил, что либералы-земцы в конце 70-х годов, вопреки своей «неполитической» доктрине, вступили в политический конфликт с властями, проявив не очень-то свойственные для этого движения в целом самоотверженность и героизм. С этим «кульминационным» моментом истории русского либерализма и связано светлое прошлое Иванова.

А мрачное настоящее героя объясняют последующие политические события. Самодержавная власть перешла в начале 80-х годов в наступление на прогрессивную общественность. Либеральные помещики-земцы, которые не имели поддержки ни в народе, ни в среде разночинной революционно-демократической интеллигенции, очень скоро оказались по бежденными. В. И. Ленин замечал, что их гражданская активность была всего лишь «бессильным «порывом» и правительство «почувствовало себя достаточно крепким, чтобы вытеснить либералов и из тех скромных и второстепенных позиций, которые ими были заняты «с разрешения начальства».

Поражение русского либерализма в его прогрессивно-гражданских политических тенденциях сопровождалось разочарованием большинства участников этого движения. Для земцев-либералов в начале 80-х годов был весьма характерен резкий переход от гражданских увлечений к скептицизму. Оппозиционно настроенные, граждански мыслящие участники либерального движения, пережив подобные разочарования, уходили из земства, т. к. не хотели превращаться в чиновников и безропотно выполнять предписания реакционных

властей. « . . . Даже предводители дворянства обращаются в бегство, не желая исполнять полицейских обязанностей!», — писал В. И. Ленин.

Новое поколение деятелей земства, этого «либерального» института, представлявшего собою, выражаясь метафорически, «маленький кусочек конституции», оказалось рабски покорным властям, «свободным» от подлинно прогрессивной гражданственности. Это были, в основном, люди, действовавшие «применительно к подлости», — «пенкосниматели», не способные внести в свою деятельность какую-либо общественную принципиальность. Они стали «негласными винтиками» в бюрократической машине самодержавия, безотказно покорялись начальству и, по существу, сомкнулись с административно-чиновничьими кругами. «Самоуправление» стало чистой фикцией, чему содействовали также реформы 1890 года.

Об этом перерождении либерализма свидетельствуют некоторые публицистические произведения 80-х годов. «Новые веяния кончились, и наступило наше теперешнее безмятежное прозябание, — пишет С. А. Приклонский в 1886 году о помещичьем земском либерализме, к которому он имел самое прямое отношение. — Орел, недавно паривший в облаках, погряз в болоте. Страстная, нервная жизнь, благородные порывы, жгучие речи, высокое парение мысли — ничего как не бывало. . . И однако затишье, наступившее в общественной жизни, не дает нам покою. Оно давит нас, как будто ночной кошмар. Из наболевшей груди невольно вырывается отчаянный крик: нет, так жить нельзя!». «Что было хорошего в новых веяниях, то оказалось не больше, как чудным, волшебным сном. Сновидение кончилось. Общество спросонок протерло глаза и видит — как не бывало роскошного чертога, виденного во сне, а живем мы по-прежнему в убогой избушке, и у ног наших валяется разбитое копыто». Н. Яковлева в своих очерках, печатавшихся в «Неделе», писала: « . . . земство, где рядом с кабатчиками, фабричными молодцами и мелкими авантюристами сидят *soi disant* порядочные люди, ливонские кавалеры, потомки гетманов и воевод, те благородные господа, которые сами не так давно кричали против эксплуатации капитала, — такое земство *mixte* представляет собой необычайное уродство, какой-то вицегрет, кото-рый свидетельствует о полнейшем оскудении земских чувств, о настоящей протрации земской идеи». « . . . Хорошие люди нынче стали робки, — отмечает она, — они, как добродетель, вышли из моды и, видя, что праздник не на их улице, не решаются идти против течения». «Среди самих земских деятелей утратилась вера в возможность создать что-либо полезное при тех условиях, при которых им приходится действовать», — говорилось в книге, изданной в 1883 году в Берлине на основе материалов, не опубликованных в «Русской мысли» из-за цензуры.

Иванов — из числа тех либеральных земцев, у которых «утратилась вера в возможность создать что-либо полезное» и которые были готовы перейти на консервативные позиции. В пьесе Чехова речь идет, как в этом еще раз убеждают приведенные исторические материалы, о «психологических последствиях» кризиса земского либерализма, зашедшего в тупик в обстановке политической реакции.

Чехову, демократически мыслящему интеллигенту, восхищавшемуся людьми, которые были способны на гражданские подвиги, во многом импонировала активная гражданственность земцев-либералов, проявившаяся на рубеже 70-80-х годов. Поэтому Иванов, воевавший, сражавшийся, волнуемый смелыми проектами и произносящий горячие речи, возвышен и опозитизирован в глазах читателей и зрителей. Чехов дал почувствовать подкупающую нравственную цельность прежнего Иванова. Отдаваясь работе, этот человек находил в ней огромное нравственное удовлетворение, и жизнь его была исполнена романтики. Иванов был «бодр, горяч, неутомим», страстно верил, что делает большое, нужное для страны дело, и в «будущее глядел, как в глаза родной матери»; он «знал, что такое вдохновение» и, сидя по ночам за рабочим столом, нередко предавался мечтаниям, гордый своей высокой общественной миссией, «умел плакать, когда видел горе, возмущался, когда встречал зло», «говорил так, что трогал до слез даже невежд» (57). И не удивительно, что в пьесе говорится о прежнем Иванове как о человеке смелом, великодушном,

обаятельном — самом интересном и значительном в уезде. Его прошлая жизнь, жизнь деятеля и борца, была озарена романтическим чувством к Сарре, на которой он женился «по страстной любви» (21). «Это, доктор, замечательный человек, — говорит Сарра о муже, — и я жалею, что Вы не знали его два-три года тому назад. Он теперь хандрит, молчит, ничего не делает, но прежде. . . Какая прелесть! Я полюбила его с первого взгляда. . . Взглянула, а меня мышеловка хлоп! Он сказал: пойдём. . . Я отрезала от себя все, как, знаете, отрезают гнилые листья ножницами, и пошла. . .» (29).

Вместе с тем Чехов вовсе не был склонен отнести к гражданственности людей типа Иванова апологетически. Писатель, как известно, критически относился ко всем идейно-политическим группировкам в современной ему России, в том числе и к либеральной интеллигенции, действовавшей «на земской ниве». Не следует, конечно, думать, что автор «Иванова» сколько-нибудь отчетливо представлял себе ту политическую ограниченность программы либералов-земцев, которую впоследствии так ясно определил В. И. Ленин в работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма». Но Чехов, несомненно, понимал, что высокая самооценка и оптимизм либеральных земцев были всего лишь самообольщением и, употребляя выражение Ленина, «непростительной наивностью».

Об этой идейной несостоятельности интеллигентов-либералов Чехов и говорил в своей пьесе, но говорил очень своеобразно. Писатель подверг рассмотрению не саму общественную программу либеральных земцев, не объективное содержание и обстоятельства их деятельности (о «громких речах» и «рациональных хозяйствах» говорится в его пьесе вскользь, как бы между прочим), а нравственно-психологические предпосылки и последствия поражения участников этого движения. Либерального помещика-земца он показал как человека фанатичного и безрассудного, склонного к экзальтации и по-мальчишески легкомысленного. Главный герой пьесы признается, что действовал «не соразмерив своих сил, не рассуждая, не зная жизни», что, отдаваясь труду и борьбе, он «пьянел, возбуждался» (77) и тешил свой ум «мечтами» (57).

Проявления одержимости и фанатизма писатель усмотрел не только в общественной деятельности, но и в частной жизни Иванова. В искренней и возвышенной любви к Сарре было немало стремления к гражданскому миссионерству. Обратив в свою веру девушку, выросшую в богатой, косной, исполненной националистических предрассудков еврейской семье, было своего рода подвигом. И Иванова увлекло свершение этого подвига. Он «женился не так, как все» (56). И действительно, в его чувство к Сарре вмешалось что-то постороннее любви, идущее от теорий и принципов, а не от сердца. В свою любовь, окрашенную гражданским миссионерством, Иванов, естественно, внес испуганную горячность и романтическую экзальтацию, которые были ему присущи. Он не думал о драме разрыва Сарры с ее средой — о той боли, которая должна остаться навсегда в душе молодой женщины в результате конфликта с родителями, возненавидевшими непокорную дочь. Он по-мальчишески беспечно предался розовым надеждам на абсолютное, вечное счастье любви, которыми увлек и любимую женщину. «Клялся в вечной любви, пророчил счастье, — вспоминает Иванов, — открывал перед ее глазами будущее, какое ей не снилось даже во сне», а она, слушая обещания и веря им, в то же время «угасала под тяжестью своих жертв», «изнемогала в борьбе с совестью» (57).

В пьесе при этом подчеркивается, что романтическая экзальтация, будучи внутренней предпосылкой гражданской деятельности, вместе с тем ведет в тупик безрассудных поступков, которые оказываются никому не нужными и бесплодными. В самом деле, Иванов, упивавшийся своей высокой миссией, не оглядываясь всерьез на исполненную антагонизмом действительность, он замкнулся в мире своих гражданско-романтических представлений и потому оказался неспособным разумно и целесообразно ориентироваться в сложных обстоятельствах. Борьба во имя высоких общественных идеалов оборачивалась тем, что герой «бился лбом об стены» и, подобно Дон-Кихоту, «сражался с мельницами» (недаром об этом в пьесе говорится дважды!); его подвиги оказывались «ничтожными» (77),

жизнь превращалась в цепь ошибок. «Сколько ошибок, несправедливостей, сколько нелепого!» — с горечью восклицает Иванов, вспоминая о прошлом (24).

Самое же главное, черты характера прежнего Иванова — крайняя возбудимость и склонность к экзальтации — выступают в освещении писателя в качестве основной предпосылки идейной и нравственной неустойчивости героя, которую он проявил при столкновении с неблагоприятными обстоятельствами.

Прежние ясные убеждения Иванова, не опиравшиеся на трезвое по нимание действительности в ее противоречиях, уступают место растерянности и беспомощности, так что герой не в состоянии утвердиться в каком-то определенном отношении к жизни. Временами заявляя, что покатился вниз по наклонной плоскости «без всякой видимой причины» (74), он иногда задумывается о том, что его погубило. «Чем, чем ты объяснишь такую утомляемость?» (57) — восклицает Иванов. Но ответить на этот вопрос он не может и, размышляя о своем прошлом и настоящем, в недоумении разводит руками. «. . . Мысли мои перепутались. . . , и я не в силах понимать себя» (21), — жалуется герой пьесы. Былая убежденность Иванова в своей правоте, основанная на привычке «тешить ум мечтами», как видно, обернулась полной неспособностью к планомерному и систематическому мышлению. В результате этого и былой оптимизм, в основе которого лежала наивно-романическая вера героя в свои собственные титанические силы, перешел в свою противоположность — в мрачную мизантропию: Иванов совершенно потерял вкус к жизни и ее благам. «. . . Мне уже кажется, — признается он, — что любовь — вздор, ласки приторны, что в труде нет смысла, что песня и горячие речи пошлы и стары» (77).

И былая воля Иванова к действию, естественно, оказалась в состоянии «атрофии». На смену гражданскому воодушевлению, в котором была известная доля «возбуждения и опьянения», приходят вялость и апатия. Иванов «в безделье» проводит «дни и ночи» (57), жалуется, что «устал телом и душой» (43), что душа его «скована какой-то ленью» (21) и, когда заходит разговор о «деле», испытывает такое чувство, как будто «мухомору объелся» (63). Он совершенно не способен предпринять какие-либо практически целесообразные меры, которых от него требует жизнь: дать отпор назойливому Львову, изыскать средства для расплаты с кредиторами, уяснить свое отношение к жене и Саше. Так, лишь настроением минуты продиктовано решение Иванова отправиться на поиски новой жизни вместе с Сашей, решение, от которого несколько позднее он сам готов отказаться. «Сашу, девочку, трогают мои несчастья, — говорит он. — Она мне, почти старику, объясняется в любви, а я пьянею, забываю про все на свете, обвороженный как музыкой, и кричу: «Новая жизнь! Счастье!» А на другой день верю в эту жизнь и в счастье так же мало, как в домового» (58).

И, наконец, что, пожалуй, особенно важно, уважение и снисходительность молодого Иванова к окружающим, происходившие, скорее, от высокой самооценки, нежели от настоящей, деятельной любви к людям, обнаружили свою неприглядную «изнанку». Как только этот человек перестал видеть в себе самом достойного восхищения деятеля, на смену душевной щедрости и мягкости пришли сердечная холодность, даже черствость и жестокость. «Близкий вам человек погибает оттого, что он вам близок, — вполне основательно упрекает Иванова Львов, говоря о его отношении к жене, — дни его сочтены, а вы . . . вы можете не любить, ходить, давать советы, рисоваться. . .» (24). «Я стал раздражителен, вспыльчив, резок, мелочен до того, что не узнаю себя» (21), — с горечью признается Иванов. И действительно: к больной жене он не чувствует «ни любви, ни жалости» (21-22) и, в конце концов, жестоко ее оскорбляет.

Таким образом, «новый» Иванов, будучи, казалось бы, полярной противоположностью тому, каким он был несколькими годами раньше, в то же время вырос из прежнего.

Эволюция Иванова нередко истолковывается как его «прогресс», как проявление идейного роста и становления характера этого персонажа. В таком духе высказывается, например, Ю. Юзовский. На самом же деле, как в этом убеждает сказанное выше, все обстоит иначе. Сдвиги во взглядах и поведении героя писатель рассматривает как идейное и

нравственное падение, как отступничество и ренегатство. Иванов выглядит человеком жалким и беспомощным, отчасти растратившим свои лучшие качества и, как говорится, зашедшим в тупик.

Выделяя крупным планом отрицательные качества Иванова, писатель, следовательно, выражал свое критическое отношение к прежней позиции героя, а в конечном счете к гражданственности либеральных земцев, «сдобренной» романтической экзальтацией и фанатизмом.

Вместе с тем Иванов отнюдь не предстает в качестве отрицательного персонажа. Чехов постоянно имеет в виду, что его герой попал в тупик не вследствие ложности своих идей или же каких-либо низменных, корыстных побуждений, а в результате того, что крайне неблагоприятными были обстоятельства для тех, кто участвовал в борьбе за исторически истинные цели и всецело ей отдавался. Поэтому-то отступничество и нравственное перерождение героя вовсе не рассматриваются писателем как акт его свободной воли, как его вина, а, напротив, истолковываются как явление объективно обусловленное и закономерное. И образ Иванова дается не в комедийно-сатирических тонах, а в драматическом освещении.

Отступничество со всеми его тяжелыми последствиями оказывается для Иванова мучительной душевной драмой, которая и выдвинута Чеховым на первый план. Драматические переживания героя вызываются его страстным неприятием собственного банкротства. «Говорю, как пред богом, — говорит Иванов Саше, — я снесу все: и тоску, и психопатию, и потерю жены, и свою раннюю старость, и одиночество, но не снесу, не выдержу я своей насмешки над самим собою. Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди. . . сам черт не разберет! Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня — это позор! Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю. . .» (44).

И на протяжении всех четырех действий Иванов напряженно размышляет над своей судьбой, искренне недоумевая перед своим падением и страстно осуждая свое отступничество. Он язвительно иронизирует над самим собой и тем самым как бы внутренне сопротивляется свершившемуся, полный гнетущей тоски и тревоги. При этом герой пьесы больше говорит о своих отрицательных качествах, нежели их проявляет.

Душевная драма Иванова воплощается в сюжете пьесы весьма своеобразно. Внешние сюжетные конфликты вовсе не являются основным источником драматических переживаний главного героя. Иванов сосредоточен главным образом на своем поражении и отступничестве и живет этими горькими думами постоянно, тогда как сложные взаимоотношения с женой и Сашей, ненависть и оскорбления Львова, нелепое поведение Боркина, долги, сплетни обывателей — это лишь дополнительные неприятности, осложняющие положение героя, и без того плохое. Характер Иванова при этом раскрывается не столько в становлении, сколько в определенном состоянии, которое не возникает и не исчезает, а обнаруживается в сюжетных событиях.

И сюжетная интрига как бы отодвигается на второй план. Сцены, посвященные каким-либо сдвигам в жизни главного героя, занимают в композиции «Иванова» довольно скромное место. Вехами в истории взаимоотношений Иванова с женой и Сашей являются лишь заключительные, финальные эпизоды каждого действия, всегда неожиданные и незапланированные. В конце первого акта Сарра узнает, что муж охладел к ней. В финале второго акта Сарра случайно видит, как Иванов обнимает Сашу. Третий акт завершается тем, что Иванов страшно оскорбляет жену, которая обвиняет его во лжи и вероломстве. Смерть Сарры, решение жениться на Саше и объяснение на этот счет вовсе вынесены за сцену и происходят между третьим и четвертым актами. И затем в конце четвертого акта, в последний момент перед свадьбой, Иванов — опять-таки неожиданно для зрителя — кончает самоубийством.

События же, происходящие на сцене, оказываются в своем большинстве скорее поводами для горьких раздумий, сетований и жалоб Иванова, нежели предпосылками или

результатами каких-то перемен в его судьбе. Большая часть разговоров главного героя с Саррой, Сашей, Львовым и уж тем более с другими персонажами не вносит в его жизнь ничего нового.

Разрабатывая подобные эпизоды, Чехов впервые намечал тот своеобразный психологический рисунок, который впоследствии лег в основу его зрелых пьес. На первый план выдвигается чередование импульсивных вспышек недовольства, тоски, отчаяния и периодов относительного спокойствия в душе героя, а характерный для традиционной драматургии переход мыслей и чувств героя в намерения, решения и поступки приобретает второстепенное значение. Это помогло автору с особенной яркостью и полнотой воплотить мысль о том, что лучшие представители современной интеллигенции оказываются жертвами «расейской действительности», что запросы людей прогрессивных взглядов трагически сталкиваются с реакционным жизненным укладом и что эти люди оказываются обреченными на мучительное прозябание.

Если первой фигурой в пьесе Чехова является сам Иванов, то второе место в ней принадлежит несомненно доктору Львову. Писатель резко протестовал против понимания этого персонажа как положительной фигуры. «Если Иванов, — писал он, — выходит у меня подлицом или лиш ним человеком, а доктор великим человеком. . . , то, очевидно, пьеса моя не вытанцовалась, и о постановке ее не может быть речи» (XIV, 268). А вместе с тем — в том же письме к Суворину — замечал, что такие люди, как Львов, «нужны и в большинстве симпатичны» и «рисовать их в карикатуре. . . нечестно, да и ни к чему» (XIV, 272).

О последнем же в настоящее время нередко забывают, трактуя этот персонаж как сатирический. А. Дикий и Ю. Юзовский, например, произнесли немало язвительных слов по адресу не только Львова, но и всех тех, кто позволяет себе ему сочувствовать. И такого рода крайность, как мне кажется, ничем не лучше противоположной. Львов в такой же малой мере «ничтожество», как и «великий человек».

Сопоставление Иванова и Львова — это сопоставление либерального помещика с интеллигентом-тружеником, одним из тех, кто составлял так называемый «третий элемент» земских организаций. В работе «Внутреннее обозрение» (1901) В. И. Ленин говорит, что в 80-90-е годы земство, где заправляли резко поправевшие либералы-помещики, сомкнувшиеся с администрацией и бюрократией, было вместе с тем сферой глубоких, хотя и скрытых антагонизмов. Он указывает, что в деятельности земства участвовали не только дворяне и чиновники, но и интеллигенты-разночинцы — врачи, учителя, техники, статистики, агрономы, — лишенные каких-либо привилегий.

Представители «третьего элемента» земств (так было принято называть эту общественную группу) выступали против бесчинств власть имущих и отстаивали главным образом свои профессиональные интересы. Но эти выступления, как отмечал В. И. Ленин, были выражением оппозиционности к существовавшим в стране порядкам и вытекали из стремления защитить интересы не правящих сословий, а трудящихся масс. Об этом же свидетельствует, например, И. П. Белоконский, автор статьи «Земское движение до образования партии «Народной свободы». «. . . Вокруг земства, — пишет он, имея в виду 80-90-е годы, — сгруппировалась почти вся лучшая, наиболее энергичная, демократически настроенная интеллигенция. . . Получилась громадная сила, прочная организация, если не связанная никакою программой, то проникнутая единым стремлением — вывести народ из тьмы, невежества, бедности и произвола к свету, свободе и материальному обеспечению».

Белоконский несомненно преувеличивает. Интеллигенты-разночинцы, группировавшиеся вокруг земства, хотя и являли собою общественную силу, к которой, как говорил В. И. Ленин, власти относились с опаской, все же не были, конечно, «громадной силой» и «прочной организацией». Они не составляли какой-либо оформленной общественной группировки, тем более союза или партии. Но Белоконский совершенно прав, говоря, что интеллигенты-разночинцы, работавшие в земствах, представляли собою отряд демократии и были сторонниками правовой эмансипации общества и в конечном итоге —

его политического раскрепощения, деятелями, пытавшимися отстаивать интересы угнетенных трудящихся масс.

Львов — один из таких интеллигентов-разночинцев. Его исполненные гражданского воодушевления монологи проникнуты враждебностью к господствующим нравам. Весьма многозначительно и то, что Шабельский — пусть саркастически — говорит о Львове, как о «подобии» (40) Добролюбова. «Честность» Львова, о которой так часто упоминают в пьесе, — это прежде всего его демократизм.

Текст пьесы не дает оснований судить о том, является Львов сторонником культурничества или же ему присущи революционные стремления, на что сделан недвусмысленный намек в письме Чехова к Суворину. «Если нужно, он бросит под карету бомбу», — говорится там (XIV, 272). Несомненно только то, что Львов очень последователен в своей приверженности к трудовым формам жизни и в своем отрицательном отношении к пошлякам и их окружению. И в этом смысле Львов — как ни различны тем перамент, склад личности и масштабы дарований этих людей — в какой-то мере напоминает Астрова, каким тот, вероятно, был лет за десять до того, как развернулись события, изображенные в пьесе «Дядя Ваня». Поэтому кажется основанным на недоразумении утверждение Ю. Юзовского, будто в лице Львова Иванову, якобы изжившему либеральные иллюзии, противопоставляется ортодоксальный либерал.

Писатель, напротив, настойчиво подчеркивает двойственность, глубокую внутреннюю противоречивость общественной позиции доктора Львова и в значительной степени уподобляет его прежнему Иванову. Знаменательно, что в письме Суворину оба эти персонажа охарактеризованы одними и теми же словами — как люди «честные», «прямые», «горячие» (XIV, 268, 271). И что гораздо существеннее, Львов, подобно прежнему Иванову, предстает как человек крайне возбудимый, одержимый в фанатичный в приверженности к своим идеям и к своей гражданской миссии. «Вот точно так же и он (т. е. Иванов, — Б. Х.) когда-то говорил. . . Точь-в-точь. . .» (29), — говорит Анна Петровна, выслушав одну из тирад Львова.

Фанатизм и одержимость Львова отчетливо проявляются в его действиях. Этот персонаж показан на сцене в его неудачной, нелепой до смешного попытке вступить в борьбу с окружающей его средой. Львов видит своего злейшего врага в Иванове, считая его подлецом и стяжателем. И свою гражданскую миссию в уезде, где служит врачом, он видит в том, чтобы разоблачить и обезвредить этого человека, которого, по существу, совершенно не понимает. «Сколько ошибок, несправедливостей, сколько нелепого!» (24) — повторит, вероятно, когда-нибудь Львов слова, произносимые в пьесе Ивановым.

Сказавшаяся в поступках Львова «крайняя возбудимость» выступает у Чехова опять-таки в качестве предпосылки «утомляемости» — гражданской и нравственной неустойчивости. «Борьба» с Ивановым оказывается для Львова чем-то непосильным. Она надламывает его и лишает его веры в жизнь. И это напоминает происшедшее когда-то с главным героем. «Вы измучили и отравили мою душу, — сетует Львов, обращаясь к Иванову. — Пока я не попал в этот уезд, я допускал существование людей глупых, сумасшедших, увлекающихся, но никогда я не верил, что есть люди преступные, осмысленно, сознательно направляющие свою волю в сторону зла. . . Я уважал и любил людей, но когда я увидел вас. . .» Такое уподобление либерального помещика-земца демократически мыслящему интеллигенту и разночинцу имеет весьма глубокий идейный смысл. Оно воплощает совершенно справедливую мысль автора о гражданской несостоятельности обеих значительных групп русской интеллигенции 80-х годов, мысль, которая будет варьироваться и развиваться в последующих произведениях Чехова.

Сопоставляя Иванова и Львова по сходству, писатель как бы отметал заранее ту точку зрения, которую впоследствии приписал ему в статье «Лишние люди» В. Боровский, утверждавший, что умонастроение людей, изображаемых Чеховым, характерно для кающихся дворян, но отнюдь не для разночинцев. «. . . Разночинец, — писал Боровский, — начал приспособлять обстоятельства к своим задачам, кающийся дворянин начал

приспособлять свои задачи к этим (неблагоприятным, — В. Х.) обстоятельствам». И продолжал: «Донкихотизму разночинцев культурно-народническое течение (речь идет о либеральных помещиках, — В. Х.) противопоставляло гамлетизм».

Чехов же, изображая интеллигенцию, исходил из того, что «приспособить» обстоятельства к своим задачам в реакционную эпоху не могли не только либеральные дворяне типа Иванова, но и разночинцы-демократы типа Львова, что положение в обществе и тех и других, поскольку они придерживались прогрессивных взглядов, было противоречивым по са мой своей сути — независимо от нюансов их классовой психологии. «Дон кихотство» Львова сопоставляется с «гамлетизмом» Иванова не как удел разночинца с уделом образованного дворянина, а как две закономерные стадии в эволюции прогрессивно мыслящих интеллигентов 70-80-х годов, к какому бы классу они ни принадлежали. И это вполне отвечало логике русской общественной жизни — ее «типическим обстоятельствам».

В «Иванове» писатель выступает против нетерпимости к инакомыслящим, против ригоризма тех интеллигентов, демократические убеждения которых не опирались на опыт общественной деятельности и борьбы, имели умозрительный, книжный характер и приводили к безжизненному доктринерству. Недаром в письме Суворину Чехов замечал, что Львов не знает жизни, но начитался романов Шеллера-Михайлова! В 80-е годы демократически мыслящие интеллигенты-разночинцы, работавшие в земствах, еще только начинали формироваться как общественная сила. И взгляды их в самом деле часто оказывались умозрительными, не опиравшимися на познание реальной действительности.

Однако, осуждая ригоризм и предвзятость Львова, писатель зашел слишком далеко. В сугубо критическом изображении демократически мыслящего интеллигента сказалась известная односторонность Чехова, от которой он избавился позднее — после поездки на Сахалин. Львов у него нередко выглядит не трагической жертвой враждебной действительности (а ведь именно это отвечало «типическим обстоятельствам» русской жизни!), а воплощением и источником зла — «добродетельным злодеем», как остроумно выразился один из критиков. Он сурово осуждает «пустую, пошлую среду» (29) и проявляет при этом вопиющую нравственную одно сторонность. По словам писателя, Львову чуждо «все, что похоже на широту взгляда или на непосредственность чувства» (XIV, 271). Рационалистичному до сухости и черствости, ему «некогда скучать» (28) по матери; Львов не способен отдаться порыву веселья, проявить снисходительность к окружающим. Как это неоднократно отмечается в пьесе, он говорит с людьми преимущественно о собственной честности, и честность эта, в силу недостаточного понимания жизни и людей, оказывается «прямо линейной» (40): этот человек не умеет видеть в людях людей. И он не способен чутко, снисходительно, по-человечески отнестись к тем, кто не стоит на уровне его понимания жизни. Мыслящий исключительно категориями «честности» и «подлости» и обличающий все, что не отвечает его идеалу, он не испытывает ни горечи, ни сострадания, ни обиды за человека, а только презрение и ненависть. Прямолинейность и предвзятость сближают Львова с худшими из обывателей: он верит сплетням, клеветает на Иванова, на страивает против него жену и Сашу, прибегая даже к анонимным письмам.

«Вы хороший человек, но ничего не понимаете, — говорит Анна Петровна в ответ на обличительный монолог Львова. — Он никогда не выражался так: «Я честен! Мне душно в этой атмосфере! Коршуны! Совиное гнездо! Крокодилы!» Зверинец он оставлял в покое, а когда, бывало, воз мущался, то я от него только и слышала: «Ах, как я был несправедлив сегодня!» или: «Анюта, жаль мне этого человека! Вот как, а вы. . .» (46).

Создавая образ Львова, Чехов вовсе не хотел говорить о демократических идеях как об отрицательном явлении в современном ему обществе. Наоборот! В письме Суворину, как отмечалось, он утверждал, что «такие люди нужны и в большинстве симпатичны». И тем не менее акцентирование крайней нравственной односторонности демократически мыслящего Львова было серьезным идейно-творческим просчетом автора, просчетом, который свидетельствовал о незрелости его собственного демократизма. Гиперболическое изображение отрицательных качеств интеллигента-демократа было неоправданным с точки

зрения основ мировоззрения самого Чехова. Показав Львова «превосходящим» обывателей в нечуткости к людям, писатель явно «перегибал палку» и, быть может, сам не желая того, сближался с теми, кто метал громы и молнии против людей прогрес сивных убеждений.

И в этом отношении отчасти прав был Короленко, который счел «Ива нова» «отрыжкой „нововременских" влияний на молодой и свежий талант», назвал пьесу «плохой» в общественном отношении и ужасался тому, что ей рукоплескали. «. . . Чехов в задоре ультрареализма, — писал он А. А. Дробыш-Дробышевскому, — заставляет поклоняться тряпице и пошлomu негодяю, а человека, который негодяйством возмущается, кото рый заступает за „жидовку" и страдающую женщину, — тенденциозно заставляет писать анонимные письма и делать подлости». «. . . Тенденция направлена на защиту негодяйства, против „негодующих" и „обличающих"». 20 Идеологические просчеты Чехова, как видно, помешали автору «Истории моего современника» заметить большую жизненную правду и глубокую, верную в своей основе мысль, воплощенную в образах пьесы. Но сами эти просчеты отмечены верно.

Образы женщин в пьесе «Иванов» как бы завершают развенчание незрелой, субъективистской гражданской романтики. При этом они отчетливо противостоят образам любящих женщин в литературе прошедших десятилетий: рисуя Сарру и Сашу, Чехов вступает в своего рода полемику со своими великими предшественниками.

Мучительную драму отрезвления и отказа от романтических самообольщений пережила Сарра, жена Иванова. Ощувив, что счастье ее и мужа оказывается весьма недолговечным, она так и не смогла понять суть происшедшего и, пытаясь вернуть былое, отчаянно цеплялась за последние соломинки. И, наконец, окончательно убедившись, что романтические восторги ушли безвозвратно, Сарра впала в обратную крайность: поверила ложным домыслам и поклепам на любимого человека. Так переосмысливается автором «Иванова» один из мотивов демократической литературы 60-70-х годов, мотив спасения девушки «из подвала» человеком, граждански мыслящим и сулящим ей «новую жизнь».

Подобным же образом переосмыслен у Чехова излюбленный «тургеневско-гончаровский» романтический мотив любви женщины к разочарованному, «лишнему» человеку, которого она пытается вернуть к одухотворенной жизни. Трагикомичной выглядит участь Саши Лебедевой. Одна из тех «эмансипированных» девушек дворянского круга, которых коснулись новые, либеральные веяния, Саша ждет от людей поступков, «хоть немножко похожих на подвиг» (37). И любовь ее к Иванову связана прежде всего с жадой самопожертвования и подвижничества: девушка хочет сделать Иванова прежним — вернуть ему молодость и гражданский энтузиазм. «. . . Главное, не забывай дела» (63), — поучает его Саша. «Всякой девушке скорее понравится неудачник, чем счастливец, — рассуждает она, — потому что каждую соблазняет любовь деятельная. . . Мужчины заняты делом, и потому у них любовь на третьем плане. . . А у нас любовь — это жизнь. Я люблю тебя, это значит, что я мечтаю, как я излечу тебя от тоски, как пойду с тобою на край света» (62).

Но задача Саши невыполнима. И она со временем убеждается, что силой самоотверженной любви Иванову нельзя вернуть юношеский энтузиазм или хотя бы смягчить его страдания; она ошиблась, приняв за любовь свое искреннее стремление спасти человека, у которого «нет ни матери, ни сестры, ни друзей» (75). «Бывают даже минуты, когда мне кажется, что я . . . я его люблю не так сильно, как нужно, — признается она отцу. — А когда он приезжает к нам или говорит со мною, мне становится скучно» (70). В жалобах Саши выражается ее душевная драма, родственная той, которую переживает главный герой пьесы, хотя, конечно, и не столь глубокая. «Папа, я и сама чувствую, что не то, — говорит Саша отцу о предстоящей свадьбе. — Не то, не то, не то. Если бы ты знал, как мне тяжело! Невыносимо! Мне неловко и страшно созна ваться в этом» (70).

В представлении современных театральных деятелей Саша Лебедева — самая положительная фигура в драме «Иванов». А. Дикий, например, говорил, что ее образ воплощает «начало деятельности, здоровья, борьбы». Так же поняли чеховскую Сашу М. О.

Кнебель, режиссер очень интересного спектакля московского театра им. Пушкина, актриса Т. Зяблова и критик М. Туровская. «Лишь один молодой и звонкий го лос, голос протеста, — пишет М. Туровская, — раздается среди этой уездной тиши — голос Шурочки. Именно эту тему — непокорности, вызова, жажды жизни — оттеняет в своей героине молодая актриса Т. Зяблова. Но если главная тема намечена ею очень точно, то хотелось бы пожелать актрисе большего разнообразия красок. Пусть бы чувствовала лись в ее Шурочке еще и сердечность, душевная чуткость, доброта».

Нам же кажется, что подобное стремление увидеть в юной героине чеховской драмы совершенное, идеальное существо уводит далеко в сто рону от авторского замысла. Чехов, в отличие от Тургенева, изображав шего самопожертвование женщины в ореоле высокой поэзии, видит в позиции Саши проявление ее нравственной односторонности и «снижает» свою героиню в глазах читателей и зрителей. «Любит она не Иванова, а. . . задачу», — заметил он в письме к Суворину (XIV, 273). Стремление Саши к самопожертвованию он рассматривает как результат книжных влияний и прежде всего — воздействия тенденциозных либеральных ро манов. Об этом свидетельствует один из эпизодов третьего акта. «И весь этот наш роман, — говорит Иванов, — общее, избитое место: он пал духом и потерял почву. Явилась она, бодрая духом, сильная и подала ему руку помощи. Это красиво и похоже на правду только в романах, а в жизни. . .» «И в жизни то же самое» (60), — отвечает ему Саша, пы тающаяся осмыслить жизнь по романам. И в поведении Саши неоднократно подмечаются штрихи, которые свидетельствуют о какой-то надуманности и ненатуральности ее самопожертвования. «С вами. . . хоть в могилу, только ради бога скорее, иначе я задохнусь. . .» (48), — восклицает она. Вряд ли энтузиазм любящей девушки, выраженный такими сло вами, вызовет у зрителя восхищение, а не ироническую улыбку! При этом в пьесе подчеркивается, что претензии героини на подвижничество совершенно неосновательны.

Присущая Саше жажда подвига оборачивается ошибками и заблужде ниями. Девушка не поняла, что ее подвиг великодушия и самопожертво вания не только не нужен Иванову, но неминуемо окажется для него, человека гордого, тяготящегося собственной беспомощностью, чем-то губительным. Во имя ложно понятого долга Саша заглушает свое истинное чувство и настаивает на свадьбе, не нужной ни ей, ни ему. «Пойми: в тебе говорит не любовь, а упрямство честной природы, — убеждает Иванов Сашу, — ты задалась целью во что бы то ни стало воскресить во мне человека, спасти, тебе льстило, что ты совершаешь подвиг. . . Теперь ты готова отступить, но тебе мешает ложное чувство» (75). Но Саша не отступает. «. . Я не хочу его великодушия! Я знаю, что делаю!» (75) — восклицает она, обращаясь к отцу, не понимая, что совесть и ложно понятый долг диктуют ей решение, которое толкнет Иванова на самоубийство.

Героиня чеховской драмы снижается в глазах зрителя и своим холодным равнодушием к отцу. «. . Не оскорбляйте моего слуха вашими грошевыми расчетами» (69), — гневно говорит она ему, не замечая, что тот желает ей только хорошего и полон беспокойства. И, надо думать, совсем не вследствие художественного просчета, как это кажется В. Ермилову, Чехов показал Сашу в третьем акте несколько назойливой, поступающей, по словам героя пьесы, «легкомысленно и бесчеловечно» (60). Вопреки тому, что говорит В. Ермилов, Чехов и не хотел, чтобы его юная героиня предстала сердечной и чуткой — в ореоле обаяния и поэтичности. Ему было важно, чтобы зритель ощутил нравственную огра ниченность девушки.

Как видно, Саша Лебедева, подобно доктору Львову, в своем поведении нередко «повторяет» прежнего Иванова: она несет в себе искреннее, от души идущее стремление к подвигу и вместе с тем — фанатизм, романтическую экзальтацию и некоторую прямолинейность — то, что Иванов назвал «упрямством честной природы». И ее образ еще больше прико вываает внимание зрителей к противоречиям в характере главного героя.

В своеобразную «параллель» главному герою поставлены также Лебедев и Шабельский. Лебедев когда-то, как и Иванов, учился в университете и, по его словам, считал себя либералом. Шабельский в молодости «разыгрывал Чацкого» (40). И оба они оказались,

подобно главному герою, всего лишь «рыцарями на час»: их гражданственность была данью «возбудимости». И теперь, тая в глубине своих душ недовольство, горечь, сожаления о лучшем прошлом, они оба влачат жалкое обывательское существование и мирятся с ним, как с чем-то неизбежным и привычным. Рисуя Шабельского и Лебедева, предвосхищающих Сорина и Чебутыкина, Чехов делал более ощутимыми «отрицательные готовности» в характере Иванова.

В душах обитателей провинциальной усадьбы Чехов видит глухое брожение и недовольство, неудовлетворенные гражданские запросы и обманутые надежды. И «свободны» от подобных душевных травм, связанных с «возбуждением» и «утомлением», лишь те, кто органически сросся с обывательщиной и собственничеством, — недалекий, грубоватый Боркин, стяжательница Зюзюшка Лебедева и некоторые третьестепенные персонажи. Все же остальные действующие лица так или иначе страдают. Даже Бабакина с ее «графоманией» проливает в четвертом акте горькие слезы, что усиливает ощущение трагикомизма всего происходящего на сцене. . .

Иванов, как видно, является не антагонистом других героев, а наиболее ярким представителем группы людей недовольных, страдающих, склонных к сетованиям и жалобам.

В «Иванове» Чехов изобразил нравственно подавленное и душевно угнетенное общество. Он понимал, что крайне тяжелое общественное настроение — явление закономерное, «неустранимое» благими намерениями отдельных личностей. Поистине роковая, трагическая дилемма стояла перед прогрессивно мыслящими людьми 70-80-х годов: или гражданская активность при фанатизме и экзальтации — или же трезвый скепсис при гражданской пассивности, скепсис, располагающий к отходу от прогрессивных взглядов и к погружению в обывательщину. Привлекая внимание современников к этой дилемме, Чехов тем самым будил протест против реакционного общественного строя, который делал ее реальностью. «И был в этой трагедии, — писал Н. Эфрос о спектакле «Иванов» в постановке Художественного театра, — громадный, не только психологический, но и общественный смысл. Был, если угодно, урок. . . разбить раковину, хотя бы опять с риском надломить спину. Родится то пламенное отрицание, которым движется вперед жизнь, — если уж нужно говорить о социальных уроках театральных представлений».

А вместе с тем в пьесе сказалась и некоторая непоследовательность Чехова в истолковании тяжелого внутреннего состояния современной ему интеллигенции. В «Иванове» причудливо переплелись заблуждения с верными догадками писателя, чуткого к жизни. И если в одном из писем Чехов заметил, что, создав «Иванова», он «попал приблизительно в настоящую точку» (XIV, 290), то в другом признавался: «. . . своей пьесы я не люблю и жалею, что написал ее я, а не кто-нибудь другой, более толковый и разумный человек» (XIV, 282).

Дело в том, что в драме «Иванов» явно ощутимы примирительные нотки, которые впоследствии определили звучание комедии «Леший». Чехову, который во второй половине 80-х годов еще не вполне утратил веру в толстовские моралистические рецепты, временами казалось, что душевная гармония и счастье вполне возможны для каждого из современников — в том числе и для людей прогрессивно мыслящих и граждански настроенных. Понимание связи между угнетенным нравственным состоянием общества и политической атмосферой в стране еще не было у Чехова достаточно отчетливым. Вероятно, именно поэтому суждения об общественной обусловленности тех или иных жизненных явлений предстают в пьесе как пародийно-комические. Так, Лебедев замечает, что Иванова «среда заела» (57), но тут же это предположение представляется ему самому банальным и глупым; один из скучных гостей пытается занять присутствующих «умным» разговором о том, что молодые люди предпочитают холостую жизнь в силу «социальных условий» (34); комическое впечатление производит реплика Косых: «Неужели даже поговорить не с кем? Живешь, как в Австралии: ни общих разговоров, ни солидарности. . . Каждый живет врозь. . .» (52).

Чехов обнаруживает в пьесе склонность к своего рода морализации и видит иногда в нечуткости изображаемых им людей их главную беду и вместе с тем вину. Неправильное поведение Саши Лебедевой и Львова оказывается едва ли не главной причиной бесславной гибели Иванова. Вследствие этого у зрителя временами создается впечатление, будто изображаемые автором люди просто-напросто затронуты какой-то «порчей» — предвзятым отношением к жизни и к окружающим. Начинает казаться, что если бы герои пьесы не усложняли своей жизни «высокими миссиями» (Иванов не вдавался бы в крайности, Саша не одурманивала бы себя идеей жертвенности, Львов поменьше бы доктринерствовал и все они были бы более чутки и внимательны друг к другу), то в их жизни все об стояло бы более или менее благополучно. В одной из промежуточных редакций пьесы эта примирительная тенденция автора выражена еще яснее: там Саша соглашается отказаться от Иванова, и тогда он, показывая ей револьвер, говорит, что покончил бы с собой, если бы она поступила иначе. Как это убедительно показывает А. П. Скафтымов, здесь Чеховым «выдвигалась мысль о том, что при благожелательном понимании со стороны окружающих Иванов мог бы «выздороветь» и до оскорбления Львова находился на пути к «выздоровлению».

Во всем этом сказывалась некоторая незрелость чеховского демократизма. Убеждать зрителя в том, что интеллигентам прогрессивных убеждений вполне достаточно быть сердечными и чуткими друг к другу, чтобы оказаться благополучными и счастливыми, — значило сеять иллюзии и выдавать страждущему человечеству по видимости спасительные, а по существу бесплодные рецепты, т. е. вставать на путь большинства русских драматургов 80-х годов.

Эта тенденция к чести писателя в окончательной редакции пьесы была не такой уж ощутимой. «Иванов» оказался не драмой частных и исправимых заблуждений, а трагикомедией прозябания прогрессивно мыслящих интеллигентов в крайне неблагоприятной для них социальной обстановке. И не случайно в окончательной редакции 1889 года Чехов снял слова главного героя, которые отвечали примитивно-поучающей тенденции пьесы: «. . . возбуждайся, но знай меру, иначе жестоко накажет тебя судьба!» (530). Писателю становилось все более ясно, что коренной причиной горестей и бед современных ему прогрессивно мыслящих интеллигентов является не сама по себе высокая степень возбудимости, а отсутствие «общей идеи», как об этом сказано в «Скучной истории» (1889).

Итак, драма «Иванов» несет на себе печать сложных и противоречивых идейных исканий автора. Она представляет собою один из этапов преодоления писателем моралистических, примирительных тенденций. Отталкиваясь от поверхностного детерминизма, в свете которого поведение личности непосредственно обуславливалось состоянием окружающей среды, Чехов приближается к пониманию того, что противоречия в нравственном облике интеллигентов вызваны в конечном счете всей социально-политической атмосферой в стране.

Неудачно складывающиеся судьбы главных героев пьесы — прежде всего самого Иванова — выступили как неотразимо убедительное свидетельство поистине трагического бессилия тех интеллигентов, которым было не на что опереться в защите прогрессивных идеалов и оставалось верить только в свои собственные «титанические» силы; будучи не в состоянии найти действенные средства для осуществления своих исторически оправданных требований, они воевали с ветряными мельницами или же переживали разочарования, душевные драмы и идейные кризисы. Разрушение иллюзий либеральной и демократической — в том числе и революционно-народнической — интеллигенции было главной идейно-творческой установкой Чехова. Об этом свидетельствует одно из его писем по поводу отзывов современников о пьесе «Иванов»: «Получаю. . . анонимные и не анонимные письма. Какой-то социалист (по-видимому) негодует в своем анонимном письме и шлет мне горький упрек; пишет, что после моей пьесы погиб кто-то из молодежи, что моя пьеса вредна и проч. . . Очевидно, поняли, чему я очень рад» (XIV, 304).

Идея пьесы «Иванов» — это прежде всего «идея-предостережение». Писатель предостерегал одновременно и от примирения с социальной действительностью, и от такого протеста против нее, который порожден романтической экзальтацией, фанатизмом и безрассудством. Тем самым он ставил перед читателями и зрителями вопрос о том, какими идейно- нравственными качествами должен обладать настоящий гражданин. Решение этого вопроса, на первый взгляд, было лишь негативным. По существу же, оно позволяло Чехову наметить — пусть не прямо, а косвенно — положительную программу, его credo как гражданина. В конечном счете в драме «Иванов» шла речь о настоятельной необходимости появления в России таких «интеллигентных людей», которые не только обладали бы верой в свою правоту, не только испытывали бы желание совершать подвиги, но и имели бы «ясно сознанные цели» и опирались бы на конкретное понимание действительности в самых серьезных и глубоких ее противоречиях.

Пьеса Чехова — произведение подлинно прогрессивное. Судьбы ее персонажей убеждают и будут убеждать, что достойной человека является лишь позиция гражданина, способного к решительному и смелому воздействию на окружающее. А вместе с тем образы пьесы наводят и будут наводить на раздумья о том, что гражданская деятельность людей, находящихся во власти субъективистских иллюзий, склонных к романтической экзальтации и не способных к трезвому, непредвзятому анализу действительности, неминуемо оказывается трагически бесперспективной и бесплодной.